

Владислав Фелицианович Ходасевич

# Пушкин и Николай I



# Владислав Фелицианович Ходасевич

## Пушкин и Николай I

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22108458](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22108458)

*Пушкин и Николай I: 1938*

### Аннотация

«...Сегодня кончается пушкинский юбилейный год. Конец его ознаменовался публикацией документа, хотя и не рукописного, но в течение шестидесяти четырех лет пролежавшего под спудом и до сих пор не известного даже специалистам-пушкиноведам. Истинная ценность этого документа может быть установлена только путем сложного и обширного анализа, который ни по размеру, ни по характеру неосуществим в пределах газетной статьи. Дело идет, однако же, о столь важном и в то же время очень мало исследованном моменте политической и творческой биографии Пушкина, что я считаю полезным теперь же, несмотря на значительный объем документа, подробно ознакомит с ним русских читателей, огромному большинству которых он недоступен подлиннике, потому что написан по-польски. Мой перевод я позволю себе проводить несколькими общими замечаниями, по необходимости кратки! но предварительно сообщу необходимые сведения о происхождении документа и о его авторе...»

# Владислав Фелицианович Ходасевич Пушкин и Николай I

Сегодня кончается пушкинский юбилейный год. Конец его ознаменовался публикацией документа, хотя и не рукописного, но в течение шестидесяти четырех лет пролежавшего под спудом и до сих пор не известного даже специалистам-пушкиноведам. Истинная ценность этого документа может быть установлена только путем сложного и обширного анализа, который ни по размеру, ни по характеру неосуществим в пределах газетной статьи. Дело идет, однако же, о столь важном и в то же время очень мало исследованном моменте политической и творческой биографии Пушкина, что я считаю полезным теперь же, несмотря на значительный объем документа, подробно ознакомит с ним русских читателей, огромному большинству которых он недоступен подлиннике, потому что написан по-польски. Мой перевод я позволю себе проводить несколькими общими замечаниями, по необходимости кратки! но предварительно сообщу необходимые сведения о происхождении документа и о его авторе.

Граф Юлий Струтынский, родившийся в 1810 году, был последним с отпрыском рода, принадлежавшего к высшей

польской аристократии. В 1829 году поступил он в Митавский гусарский полк, а в тридцатых годах, молодым офицером, неоднократно бывал в Москве, где его двоюродная сестра была замужем за кн. П. С. Голицыным. В один из этих наездов он познакомился с Пушкиным и имел с ним длительный разговор, который впоследствии изложил в одном из томов своих обширных мемуаров, изданных в Кракове в 1873 году под псевдонимом Юлия Саса. Пять лет спустя он скончался, оставив после себя, кроме мемуаров, более десятка томов поэзии и прозы, свидетельствующих о слабом художественном даровании, но о высокой образованности автора. После смерти он был основательно забыт, и лишь недавно, в еженедельнике «Вядомосци Литерацке», г. Топоровский перепечатал его запись о разговоре с Пушкиным. Когда именно происходил этот разговор, сам автор в точности не указывает. Г. Топоровский, на основании побочных признаков, относит событие к 1830 году. Вот полный текст записи, сделанной Сасом-Струтынским.

\* \* \*

«На одном из упомянутых вечеров я познакомился с Пушкиным. Начало знакомства нашего было положено поэтессой Каролиной Яниш, которой Мицкевич давал уроки польского языка и которая перевела на немецкий несколько его произведений. Она представила меня Пушкину и

несколькими лестными замечаниями снискала его внимание ко мне; а так как в природе этого замечательного человека предупредительная сердечность равнялась силе таланта, и холодная расчетливость высокомерия (свойственная гордцам и глупцам) не стесняла искренности, то вскоре мы сблизились. Я видел, как он старался снизить до моего уровня, свой гений приспособить для моего понимания и придать нашим отношениям характер приятной короткости, свойственной равному с равным, славянину со славянином, человеку с человеком.

Я был еще молокососом, он вступал в пору зрелого мужа. Я был ничто, он уже был гордостью своей родины и снискал себе славное место на страницах исторического бессмертия. Однако, несмотря на все мое ничтожество, я стал так близок к его душе и пробудил в ней такое доверие, что она вся открылась передо мной, развернулась свободно, без фальши, длиною нитью доверчивых признаний, как перед другом детства, как перед братом сердца. Его природная доверчивость, возбужденная симпатией, которую он ко мне питал, не требовала долгих колебаний, чтобы раскрыться настежь. Не прошло еще двух недель с нашей первой встречи, как я уже знал его насквозь и читал в нем, как в раскрытой книге. Приведу некоторые его признания, имеющие связь с предметом моего повествования.

– Молодость, – говорил Пушкин, – это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нрав-

ственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине. Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором, – словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в Действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления – наилучшая. Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, – эта философия энциклопедистов, принеся миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне.

Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собой ничего ни на земле, ни в небе; индивидуализм, не считающийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов, – все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения.

Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, каждый монарх – угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступал неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!

Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое отлетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательней, глубже вникнул в видимое, – я понял, что называвшееся доньше правдой было ложью, чтимое – заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким Божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна, как для личности, так и для обще-

ства; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темноты народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, – в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктаториальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем как у нас до сих пор непреложное условие существования всякой власти – чтобы перед ней смирились, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали голос самого Бога.

Конечно, этот абсолютизм, это самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее, самодержавию суждено подвергнуться изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить не может и не должно.

– Почему не должно? – спросил я с удивлением.

– Все внезапное вредно, – отвечал Пушкин. – Глаз, привыкший к темноте, надо постепенно приучать к свету. Природного раба надо постепенно обучать разумному пользованию свободой. Понимаете? Наш народ еще темен, почти дик;



дай ему послабление – он взбесится. И дворянство наше – не лучше. За его внешним лоском кроется глубокая внутренняя тьма. У народа, по крайности, можно доискаться сердца, а у дворянства и сердца нет! Ибо кто есть истинный угнетатель народа? Оно! Кто задерживает развитие его понятий, культуры, ума? Оно! Кто сводит на нет все усилия правительства к улучшению народной жизни? Оно! У нас каждый помещик – деспотический властелин своих подданных.

Он питается их потом, пьет их кровь! Ценой их труда он оплачивает ненужные поездки за границу, откуда возвращается с пустым карманом и головой, полной философических, филантропических и передовых идей, которые у себя дома он насаждает, деря с несчастного мужика две шкуры и зверски над ним измываясь.

– А что же правительство? – спросил я.

– Высшее правительство об этом не знает, потому что низшее подкуплено! – отвечал Пушкин, вскакивая с места.

– Но ведь есть губернаторы, предводители дворянства, начальники жандармских управлений, через которых правда должна дойти до высших сфер правительства, до самого императора?

– А разве сами эти губернаторы – не помещики? – перебил Пушкин. – Разве у этих предводителей нет своих подданных? Ворон ворону глаз не выклюет, друг мой! С волками жить – по-волчьи выть! Это – вечная истина, неопровержимая.

– И тем более печальная! – воскликнул я.

– Верно, – продолжал Пушкин. – Не весело, друг мой, смотреть на то, что у нас творится, но было бы несправедливо сваливать всю тяжесть вины на императора Николая. Я знаю его лучше, чем другие, потому что у меня был к тому случай. Не купил он меня ни золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродажен и придворных милостей не ищу; не ослепил он меня и блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо, кроме совести и Бога, я не боюсь ничего, не задрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать (ибо отчего же не признать?), что императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и, может быть, тщетно, ибо смотрел на мир не непосредственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам, смотрел не как человек, умеющий разобраться в реальных потребностях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что когда мне объявили приказание государя

явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась – не тревогою, нет! – но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг ощетинился эпиграммой, на губах играла усмешка, сердце вздрогнуло от чего-то похожего на голос свыше, который, казалось, призывал меня к роли стоического республиканца, Катона, а то и Брута Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужденном пути в царский дворец. И что же? Они разлетелись, как мыльные пузыри, исчезли в небывтии, как сонные видения, когда он мне явился и со мною заговорил. Вместо надменного деспота кнутодержавного тирана, я увидел монарха рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, благородного лицом. Вместо грубых, язвительных, диких слов угрозы и обиды я услышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

– Как? – сказал мне император, – и ты враг своего государя? ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин! Это не хорошо! Так быть не должно!

Я онемел от удивления и волнения. Слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая опомниться. Мгновения бежали, а я не отвечал.

– Что же ты не говоришь? ведь я жду?! – сказал государь и взглянул на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше этим взглядом, я, наконец, опомнился, перевел дыхание и сказал спо-

койно:

– Виноват – и жду наказания.

– Я не привык спешить с наказанием! – сурово ответил император. – Если могу избежать этой крайности – бываю рад. Но я требую сердечного, полного подчинения моей воле. Я требую от тебя, чтобы ты не вынуждал меня быть строгим, чтобы ты мне помог быть снисходительным и милостивым. Ты не возразил на упрек во вражде к своему государю – скажи же, почему ты враг ему?..

– Простите, ваше величество, что, не ответив сразу на ваш вопрос, я дал вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом своего государя, но был врагом абсолютной монархии.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

– Мечтанья итальянского карбонарства и немецких Тугендбундов!

Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетских аудиторий! С виду они величавы и красивы – в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущее к диктатуре, а через нее – к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудные минуты обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось

дельного руководителя. Сила страны – в сосредоточенности власти; ибо где все правят – никто не правит; где всякий – законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, вдруг остановился передо мной и спросил:

– Что ж ты на это скажешь, поэт?

– Ваше величество, – отвечал я, – кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма: конституционная монархия...

– Она годится для государств окончательно установившихся, – перебил государь тоном глубокого убеждения, – а не для тех, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование. Она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не добыла своего политического предназначения. Она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не есть тело вполне установившееся, монолитное, ибо элементы, из которых она состоит, до сих пор друг с другом не согласованы.

Их сближает и спаивает только самодержавие – неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. (Помолчав). Неужели ты дума-

ешь, что, будучи нетвердым монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей!

Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для нее живым представителем Божеского могущества и наместником Бога на земле; потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы!

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества, казалось, делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали. Но это не были признаки гнева, нет! Он в ту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измеряя силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица сменилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился передо мною и сказал:

– Ты еще не все высказал. Ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений. Может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело. Я хочу тебя выслушать и выслушаю.

– Ваше величество, – отвечал я с чувством, – вы сокру-

шили главу революционной гидры. Вы совершили великое дело – кто станет спорить?

Однако... есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым вы должны бороться, которого должны уничтожить, потому что иначе оно вас уничтожит!

– Выражайся яснее! – перебил государь, готовясь ловить каждое мое слово.

– Эта гидра, это чудовище, – продолжал я, – самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов.

Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над вашей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не достигнуто! Нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена! Справедливость – в руках самоуправцев! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто не уверен в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона! Что ж удивительного, ваше величество, если нашлись люди, решившиеся свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть:

вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, ваше величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного! Вы могли и имели право наказать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в глубине души вы не отказывали им ни в сочувствии, ни в уважении! Я уверен, что если государь карал, то человек прощал!

– Смелы твои слова! – сказал государь сурово, но без гнева. – Значит, ты одобряешь мятеж? Оправдываешь заговор против государства? Покушение на жизнь монарха?

– О нет, ваше величество, – вскричал я с волнением, – я оправдывал только цель замысла, а не средства! Ваше величество умеет проникать в души – соблаговолите проникнуть в мою, и вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно! В такой душе злой порыв не гнездится, преступление не скрывается!

– Хочу верить, что так, и верю! – сказал государь более мягко. – У тебя нет недостатка ни в благородных убеждениях, ни в чувствах, но тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу же не уничтожила этого зла и на его развалинах не по-



спешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Sacher que la critique est facile et que l'art est difficile\* [Легко критикующему, но тяжело творцу – фр.]. Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой, передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самоуважения в народе и чувства чести – в обществе. Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их – и гидра будет уничтожена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение! Что же до тебя, Пушкин... ты свободен! Я забываю прошлое – даже уже забыл! Не вижу перед собой государственного преступника – вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание – воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь... можешь идти! Где бы ты не поселился (ибо выбор зависит от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил. Служи родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я!

Такова была сущность пушкинского рассказа. Наиболее

значительные места, глубоко запечатлевшиеся в моей памяти, я привел почти дословно.

Действительно ли его позднейшие сочинения получали царское разрешение или обычным путем подвергались критике цензурного комитета, с уверенностью сказать не могу. Мне как-то не пришло в голову спросить об этом Пушкина, и читатель легко поймет, если сообразовит припомнить, что я тогда был еще очень молод и что мое любопытство привлекали предметы более «важные».

\* \* \*

Как видим, главная и наиболее интересная часть записи касается разговора, происходившего 8 сентября 1826 года между Пушкиным и Николаем I в Москве, в Чудовом дворце, куда поэт был доставлен флигель-егерем прямо из Михайловского. Общий смысл этого рассказа давно известен. Другой дело – его конкретное содержание. До нас сохранилось лишь несколько реплик, более или менее точно переданных современниками со слов царя и поэта. Таковы рассказы барона М. А. Корфа, княгини В. О. Вяземской, А. Г. Хомутовой, А. О. Россета (по записи Грота). Но если мы сложим эти реплики, то получим словесного материала не больше, как на две-три минуты разговора. Меж тем, по свидетельству барона А. А. Дельвига, аудиенция продолжалась «более часу», а по донесению, посланному в III Отделе-

ние агентом Локателли, – даже «более двух часов». Таким образом, если бы мы могли быть уверены в достоверности и точности записи, сделанной Струтынским, то этот документ заполнил бы огромный пробел в наших познаниях, и ценность его, разумеется, была бы весьма велика. К сожалению, такой уверенности у нас нет.

Смущает не содержание записи и не стиль ее. Как сказано в начале этой статьи, только весьма подробный и пространственный анализ мог бы открыть в рассказе Струтынского какие-либо подробности, носящие явно апокрифический характер, – да если бы таковые и обнаружались, то они все-таки не компрометировали бы всего документа в целом, потому что отдельные ошибки и неточности почти неизбежны в записи, сделанной приблизительно сорок лет спустя после беседы Пушкина со Струтынским. Более того: по общему впечатлению пишущего эти строки, у Струтынского нет ничего такого, что не могли бы высказать ни Пушкин, ни Николай I. С этой точки зрения запись Струтынского кажется правдоподобной и не противоречащей тому, что известно об исторической беседе 8 сентября. Несколько странно, что у Струтынского нет упоминания о вопросе государя: что сделал бы Пушкин, если бы 14 декабря был в Петербурге? – И нет пушкинского ответа о том, что он стал бы в ряды мятежников. Этот пункт беседы бесспорно устанавливается показаниями обоих участников: Пушкина – в разговоре с Хомутовой, государя – в разговоре с Корфом. Однако такой про-

пуск может быть различно объяснен и сам по себе недостаточен для того, что его рассказ действительно восходит к рассказу самого Пушкина. Таково, например, любопытнейшее упоминание о настроениях, в которых Пушкин готовился предстать перед царем: оно имеет прямое касательство к уничтоженному стихотворению, которое кончалось стихами: «Восстань, восстань, пророк России!» и т. д.

Не в пользу мемуариста говорит самая форма записи. Невозможно предположить, чтобы разговор, происходивший без Струтынского и воспроизведенный со слов Пушкина много лет спустя, мог быть без участия фантазии представлен в виде стройного диалога. Несомненно, что Струтынский придал записи более стройную форму, чем та, которая могла запечатлеться в его памяти. Однако с такими обработками мы встречаемся в огромном большинстве мемуаров. Было бы рискованно вполне положиться на дословный текст Струтынского, но из этого отнюдь не следует, что мы имеем дело с вымыслом или что общий смысл и общий ход беседы передан неверно. Отметим, что на буквальную точность записи не претендует и сам автор, подчеркивающий, однако, что наиболее значительные места приведены им почти буквально. Весьма возможно, что они были даже записаны Струтынским вскоре после беседы с Пушкиным: биограф и друг Струтынского, в свое время небезызвестный славист Д. Каркор, рассказывает, что у Струтынского была необычайная память и что, кроме того, незадолго до смерти

он сжег несколько томов своих дневников и заметок. Может быть, среди них находились и более точно воспроизведенные, сделанные по свежим воспоминаниям отрывки из беседы с Пушкиным, впоследствии послужившие материалом для данной записи, в которой излишняя стройность и законченность составляют, конечно, не достоинство, а недостаток.

Желание придать своему рассказу известную законченность придало записи Струтынского еще один недостаток; само собой разумеется, Пушкин не мог говорить ни вообще, ни в частности о самом себе так напыщенно и «красиво», как говорит у Струтынского. Однако и эта «отделка» ничего еще не говорит против его правдивости. Больше того: несомненная «стилизация» пушкинской речи, по-видимому, была вызвана самыми лучшими пожеланиями Струтынского: благоговей перед Пушкиным, он захотел представить и речь его как можно более возвышенной и красноречивой. Эта попытка, разумеется, не удалась, но она свидетельствует о слабых литературных дарованиях и о недостатке вкуса у автора – ни о чем больше. Само же по себе восторженное отношение к Пушкину не может не располагать нас к Струтынскому; оно в особенности почтенно в поляке, пережившем 1831 год и, нужно думать, знакомого с такими стихами Пушкина, как «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России».

Остается еще один пункт, способный, быть может, всего сильнее подорвать наше доверие к документу. Подозрение возбуждает уверение Струтынского касательно доверчиво-

сти и дружбы, внезапно проявленных уже зрелым Пушкиным по отношению к молодому офицеру, ему почти неведомому. Вряд ли можно сомневаться, что на этот счет Струтынский отчасти прихвастнул, отчасти же, может быть, был введен в заблуждение самим Пушкиным. Конечно, нельзя без улыбки читать слова Струтынского о том, что после двухнедельного знакомства с Пушкиным он уже «знал его наизусть и читал в нем, как в раскрытой книге». Однако мы знаем за Пушкиным эту черту: не раз случалось ему дарить случайного знакомого если не подлинной дружбой, то вполне дружеской, порывистой откровенностью. Переходы от подозрительности и скрытности к доверчивости были у него часты и не всегда обоснованны. Не было бы ничего удивительного, если бы в один из таких порывов не высказал он и Струтынскому все то, что составило предмет вышеприведенной записи.

Повторю еще раз. Запись нуждается в детальном изучении, которое одно позволит установить истинную степень ее достоверности. Но, во всяком случае, просто отбросить ее, как апокриф, нет никаких оснований. В заключение отмечу еще одно обстоятельство, говорящее в пользу автора.

Пушкин умер в 1837 году. Смерть его произвела много шума не только в России, но и за границей. Казалось бы, если бы Струтынский был только хвастуном и выдумщиком, пишущим на основании слухов и чужих слов, – он поспешил бы при первой возможности выступить со своим рассказом,

если не в русской печати, то в зарубежной. Он этого не сделал и своему повествованию о знакомстве с Пушкиным отвел место лишь в общих своих мемуарах, публикация которых состоялась лишь много лет спустя.

<1938>